Данил Розенцвейг
Падение
18+

Данил Розенцвейг

Падение

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66982336
SelfPub; 2021

Аннотация

Умирая, опавший лист вспоминает свою жизнь и размышляет о своей смерти.

Данил Розенцвейг
Падение

Падение было быстрым, безболезненным и безнадежным. Описав несколько виражей вокруг ствола, я, подхватываемый дыханием редких, влажно-холодных порывов, проманеврировал к замерзшей траве, пробивающейся у самого основания моей прошлой обители, и был встречен травинками, с прохладным отторжением, которое, однако, плавно перетекло в безразличное смирение, по мере того, как моих невольных, вынужденных соседей покидали жизненные соки и силы. На мои вопросы они не отвечали, делали вид, что не понимают языка, хотя слова их были такими же, разве что менее шероховатыми и более тихими, незаметными. Признаться, по ночам, я, бывало, тоже переставал различать их убаюкивающий шёпот, фразы сливались в набор звуков, звуки сплетались в шелест, шелест рассыпался в едва слышимый свист, и под эту ночную мелодию, напоминавшую мне прежние симфонии, которые мы исполняли с родственниками ветряными вечерами, я засыпал.

Что касается моей родни, я знал, что некоторые из них определённо были неподалёку, но знал так же, что у них не хватит уже сил на голос, как и у меня самого. Энергия в спешке покинула моё тело после дня Падения, и в неласковых, рваных объятиях сухой травы, я теперь медленно уми-

рал, теряя былой цвет и запах, текстуру и форму. Поначалу, я по привычке считал, что это временно, пройдет как град или буря, рано или поздно все наладится, и этот травмирующий опыт забудется. Но вскоре я стал все больше сомневаться в подобных измышлениях, они стали казаться абсурдными, дошло до того, что вспоминая их, мне становилось до боли смешно. Что могло поменяться? Я был оторван, упал вниз, уже начал разлагаться. После некоторых черных полос не наступает белая, после некоторых черных полос вообще ничего нет. И я, понимая, что мне уже не вернуться на ветку, пытался заставить себя поверить, что все происходящее – сон, иллюзия, фантазия, что это происходит не со мной, что сейчас я проснусь, и снова буду на своем месте, снова буду целым. Неужели одного дня, одного мгновения достаточно, чтобы безвозвратно потерять все? Звучало неправдоподобно, не похоже на мир, каким я его знал, он просто не может быть так глупо устроен, и я ожидал подтверждение своим доводам.

Но каждое утро наваливалось ужасным холодом, наливалось каплями мерзкой росы, и как мне не хотелось, я не мог пить её, влага теперь будто стала питаться мной, наполняя омертвевшие ткани, прибивая к мерзкой ледяной земле, обрушивая на меня пласты соседних растений. Им тоже не становилось лучше – говорили они все тише и все меньше по делу, видимо, тоже начали что-то понимать, и осознание неизбежного безжалостно сводило их с ума. Я надеялся, что ме-

ня это безумие не коснётся, поскольку теперь уже смирился с собственной участью, отказался от надежд, принял Падение как неизбежность, да и даже в процессе был спокоен, наученный горьким опытом упавших до меня. Те, кто впадали в истерику, истошно пытались кричать, вернуться обратно, не в состоянии справиться с фатумом, обычно падали не на лужайку внизу, а на дорогу. Там они быстро ссыхались, абсолютно оторванные от влаги, на них наступали люди и животные, разбивая их хрупкие тела на осколки и притаптывая к асфальту. Позже их сметали дворники, в огромные уродливые кучи, вместе с мусором, окурками и грязью, а потом прятали в чёрный целлофан, отправляющийся в жестяной мусорный бак. Содержимое баков поедали гигантские металлические машины, появляющиеся каждое утро, голодные, пустые, охотящиеся. Они стали вызывать у нас ужас только после начала Падения, до этого их ежедневное прибытие воспринималось как данность, часть окружения, подобно людям, забавным и бессмысленным, что днем шли быстрым шагом в одну сторону, и медленным обратно к вечеру. Мы никогда не думали, что бесконечный голод машин может коснуться нас.

Несмотря на моё смирение, периодически я впадал в безумие и беспамятство от болезненной агонии, когда чувствовал распад и собственный некроз особенно яростно, например, когда впервые выпал снег. Роса оказалась ничтожной напастью, назойливым неудобством, в сравнении с ним. Тя-

жёлая, колючая масса, прижимающая тебя к отвратительной размокающей грязи, сковывающая твоё умирающее тело, удушающая, наполняющая тебя мерзким холодом, что сменялся гнилью, когда приходили тёплые дни, доводящие до срыва. Снег выпадал и таял несколько раз, прежде чем остаться навсегда, и те недели казались вечностью, казались настоящим кошмаром, когда ты не можешь спать, не можешь дышать, не можешь кричать, не можешь умереть. Всё о чем я мечтал, чтобы это, наконец, кончилось, даже пасть железной машины уже не казалась худшей участью, лучше бы я был разбит ботинками на асфальте, чем переживать ту боль, на которую был теперь обречён. Несколько раз я действительно был близок к потере разума, уверен, часть его безвозвратно пострадала, но, вместе с этой травмой, я, кажется, смог перестать ощущать боль в прежней мере. Снег укрыл меня плотным слоем, и спустя некоторое время, не знаю, сколько дней прошло, поскольку оказался в полной темноте, я понял, что он больше не растает, и постепенно привык к ледяной тьме, удушающему неподъёмному плену, как и ко всему остальному.

Большая часть того, что я знаю, досталась мне от дерева, в процессе моего взросления. Множеству поведанных вещей, в которых я находил дерзость сомневаться из-за их противоестественного содержания, я позже находил подтверждение в ходе наблюдений за окружающей реальностью. У всего

вокруг было предназначение, если менее пафосно – функция. Функция дождя была увлажнять почву, функция солнца – согревать все живое, функция птиц – петь песни, функция дерева – распределять пищу между всеми нами, наша же функция – эту пищу производить. Процесс не из лёгких, требовал большой концентрации и напряжения, почти весь день уходил на эту работу, и лишь под вечер, когда солнце уходило за бетонные прямоугольники, а воздух наполнялся сумеречной влагой, мы могли расслабиться и отдохнуть. В прямоугольниках живут люди, со слов дерева "забавные букашки", считающие себя главнее всех остальных существ из-за того, что не понимают своих функции, отчего им кажется, что они свободны, но что делать даже с этой иллюзорной свободой они не знают, поэтому просто ходят туда сюда, наполняют свои тесные квадратные комнаты новыми вещами и новыми людьми, едят и спят, кричат и плачут, не в силах выносить тот образ, который сами себе выдумали, и которому пытались соответствовать. Вначале, несмотря на возраст и мудрость дерева, я усомнился в его словах. Я не мог поверить, что существа, способные на передвижение, могут страдать от избытка свободы, и также слишком наивно для меня звучало то, что они сами выдумывали себе необходимости, чтобы продолжать двигаться, потому что на самом деле предпочитали сидеть на месте, подобно нам, листьям. Понаблюдав за ними, я понял, что дерево не преувеличивало. И к тому же, познал прелесть того, что не мог пойти куда хо-

тел, поскольку тогда вряд ли знал бы куда отправляться, и очень быстро потерялся, вдали от моего дерева. Единственное, в чем я сомневался, так это в том, что люди не понимали своей функции, вернее в том, что им было что понимать, поскольку в действительности, они ничего не делали – уходили из коробок днём, возвращались вечером, смотрели мигающий красками ящик, ели, бросали бычки из окон. Я решил, что люди – это некая ошибка, существа без предназначения, не служащие никакой цели, и посему страдающие от собственной бесполезности, всемогущие, и от этого страдающие от отсутствия недоступных вещей. Но с возрастом, поразмыслив, я понял, наконец, что функцией людей, видимо, является заполнение собою квадратных сияющих ячеек этих огромных бетонных монолитов. Зачем то же были здесь эти гигантские уродливые здания, закрывающие горизонт со всех сторон, запирающие мое дерево в некую ограду, представляющую собой заслон для нашего взгляда на все, что могло прятаться за ним. Будь эти громадины пусты, я бы вряд ли нашел объяснение их существованию, а так люди жили со зданиями во взаимном симбиозе, являясь друг для друга необходимым элементом, и этим объяснялось их предназначение в мире.

Через пару дней после выпадения снега, я был вырван из болезненной дрёмы странным звуком в ставшей привычной для меня тишине. Нечто пробиралось сквозь снег, медленно, с тяжестью. Небольшое животное, возможно птица, ещё

теплое, но замерзающее, маленький комочек жизни остановился где-то в снегу, совсем неподалеку от меня. Хриплое дыхание срывалось в беззвучный, бессильный, болезненный стон. В первые дни, я, возможно, издавал нечто похожее, но это вряд ли было сравнимо с тем, что слышалось сейчас. Я чувствовал дрожь этого существа сквозь толщу снега, чувствовал его беспомощные попытки выбраться из грубых ладоней сугроба, и казалось что в движениях его ещё достаточно жизни, что сейчас он отдохнёт пару мгновений и вырвется из плена, будет бороться до конца за существование и победит, добравшись до твердой земли. Но этого не произошло. Существо не двигалось с места. Я лишь слышал, как с трудом расширяются его лёгкие, как больно хрустит его горло от ледяного воздуха, слышал, как бешено колотится крошечное сердечко, не желающее умирать. Вот тельце напряглось, сжалось, пытаясь выдавить из себя крик о помощи, но услышал я лишь сорванный глухой хрип. Попытка повторилась, но на этот раз вышло ещё более жалко. Мне никогда не было суждено узнать наверняка, кто мой товарищ по несчастью, но осознание того, что я не одинок, принесло мне невероятный подъем духа и сил, прилив некой сплоченности и чувства общности. Когда узнаешь, что кто-то в такой же беде, что и ты, становится легче, возможно появляется некий элемент конкуренции, кто дольше протянет, а возможно, ты просто понимаешь, что твоя проблема не уникальна, и это не тебе одному выпала тяжёлая доля. Все мои родственники,

должно быть, где-то совсем рядом, переживают то же гниение и кошмарную боль. Мысль об этом вызвала чувство вины, будто подумав о чужой участи, я сделал её реальной.

Поскольку мы были едины с древом, то могли слышать его беспокойные мысли ветреными ночами, чувствовать неясную тревогу по поводу некоторых концепций, обозначение которых родитель не позволял нам познать. Будучи с ним чем-то цельным, мы разделяли его настроение по поводу определенных слов, на каком-то инстинктивном уровне осознавали границы дозволенного общения, испытывали общий смутный страх перед словом «зима», и исходящую из страха табуированность на все прилегающие к этому слову темы. Знай мы тогда, что нас ждёт впереди, поменяло бы это хоть что-то? Наши функции остались бы прежними, но появились бы вопросы о смысле наших действий, нашего существования в качестве временного механизма питания создателя, который оправдан моральным долгом, платой за возможность чувствовать летнее тепло и поцелуи нежных порывов. Я вспоминаю приятные моменты жизни, но они больше не греют, лишь вызывают большую боль, от осознания неповторимости, исключительности, от откровения, что закрадывается в разум – лучше бы я никогда не знал, что можно чувствовать себя хорошо. Возможно тогда, происходящее сейчас не вызывало бы таких мук, из-за невозможности сравнить их с чем-то противоположным.

Я больше не вижу свет, тёплый свет солнца, нежный лун-

ный лик, жужжащий взгляд фонарей, огоньки колыхающихся мотыльков. Все, что я любил, теперь стало фантомом, смутным нечётким контуром образов в моей зудящей памяти, стало болью, соразмерной с прежними чувствами привязанности и наслаждения, болью, от вечной безвозвратной потери, от осознания того, что ты никогда больше не испытаешь подобного, и не коснешься больше того, чего когда-то имел возможность коснуться, и все что тебя ждёт – холод, земля, забытье.

Безмолвно, лишь собственным примером, камни учат меня терпению, способам отвлекаться, не думать о моем положении. Незыблемые, вечные, без слабостей, чувств и изъянов. Что им известно о страданиях? По праву рождения, они невосприимчивы ни к каким бедам, ничто не может навредить им, уничтожить их, забрать их силы. Как они могут упрекать меня в чем-то собственным стоицизмом, если ни разу не были в моём мире, в мире разъедающих пыток, жизни, гнили и разложения?

Однажды, очнувшись от истерического припадка наливающейся агонии, из-за очередной отсыревшей и отмирающей части моего тела, я обнаружил, что хриплое дыхание рядом пропало, не было слышно ничего, абсолютная тишина, невыносимо тяжёлая, неестественно опустошенная, более мертвая чем была прежде, до того как хрупкое нечто оказалось рядом со мной. Понимание постепенно просачивалось в мою голову сквозь щели стен отрицания. То, что застряло там, в

костлявых, угловатых капканах льда, так и не смогло выдавить из себя последний крик, подчёркивающий и ограничивающий существование, как акт воли к жизни, как символ борьбы с фатумом, оказавшейся напрасной. Так я потерял своего единственного, своего последнего друга.

Во время Падения, я клялся не забывать свою ветку, но сейчас уже смутно помню это обещание, во мне растет злоба на неё, за то, что она отпустила, бросила меня мёрзнуть здесь, под чёрным тяжёлым одеялом зимы, на горьких грязных губах земной тверди, умирать, прочувствовать процесс умирания, пройти через деструктивный, разрушающий опыт, не представляющий собой никакой ценности, пережить нечто кошмарное, чтобы перестать воспринимать что-либо. Смерть представляется мне чем-то непознаваемым, есть какое-то противоречие в том, что живой, вроде существующий, зачем-то появившийся же организм, обязан умереть, исчезнуть. Конечность жизни ставит для меня вопрос о целесообразности этой жизни в целом, поскольку если смерть является концом, то вне нашего предназначения, всю свою жизнь мы проводим в подсознательном бесконтрольном страхе перед смертью, в попытках успеть родиться, распуститься, расцвести, пустить веточки, набраться знаний, насмотреться событий.

Откровенно сказать, подобные мысли меня стали посещать лишь после Падения, поскольку, как бы сейчас это не

звучало наивно и глупо, я почему-то никогда не задумывался о том, что могу умереть. Жизнь казалась чем-то, что не может кончиться, это трудно представить даже сейчас, как кончается жизнь. Вот ты есть, ведёшь с собой внутренний диалог, слышишь собственный голос, и вот спустя секунду – ты исчез. Никакого голоса, никаких мыслей, на ум приходит пустота, тьма, подобно той, что окружает меня, но нет даже её, поскольку больше нечего воспринимать, вернее некому. Мне не хватает воображения, чтобы представить это, и не хватает наивности поверить в подобное. Возможно, это потому что жизнь состоит из ощущений, из восприятия, и представить существование, вернее представить собственное существование, без этих вещей невозможно, поскольку я не имею опыта жизни вне восприятия этой самой жизни. Порой мне начинает казаться, что я уже мёртв, поскольку не выходит у меня придумать ситуацию, в которой я чувствовал бы себя хуже, и если пытаться логически вообразить смерть, то возможно такая она и есть – вечность в темноте, без возможности на движение, голос, чувства. Возможно, вынужденный откровенный диалог с самим собой это и есть смерть, процессуальная перманентная смерть.

Первый раз я столкнулся с ней, после одного странного события. Толпа людей внизу несли продолговатый ящик, похожий на шкаф, или сундук. Некоторые из них плакали, я тогда подумал, что люди очень любили этот ящик, но, видимо, вынуждены были с ним расстаться, и теперь упивались

своим несчастьем, чем они зачастую и любили заниматься. Некоторые из них раскидывали на асфальте цветы, в основном розы, на длинных шипастых стеблях. Большую часть роз после отправили на корм утренним железным животным, но те, что были не на асфальте, а оказались у тротуара, на траве, остались. Они молчали, даже когда люди ушли, даже когда наступила ночь. Я подумал, что это очень застенчивый тип цветка, несмотря на экстравагантную внешность, либо им просто нечего было рассказать. Однако на следующий день я стал замечать, что происходит. Влага покидала их плоть, забирала с собой цвет и аромат бутонов, те сворачивались, ссыхаясь, становились хрустящими, умирали. Прохладными ночами можно было слышать их сдавленное дыхание, переходящее в стон, пытающееся утолить жажду из воздуха, но это им мало помогало. Дни всегда забирали больше, чем дарила ночь. Через четыре дня умерла первая роза. На пятый день умерло чуть меньше половины. На шестой день осталось две штуки. На следующее утро навечно замолчали и они. Их сухие тельца разложились, стали плоскими и безвкусными, ни на что негодными, превращающимися в пыль. Мы смотрели на это с тихим ужасом, замерев и стараясь не дышать, будто наблюдали за чем-то таинственным, интимным, подглядывали за процессом, который не должны были видеть. Но тогда, для каждого стало очевидно, что подобная участь может коснуться и нас. Дерево хранило молчание, оно наказало нашей ветке пресекать любые разговоры об этом, отвлекать

нас внезапно возросшей необходимостью преобразовывать солнечный свет. Через несколько недель началось Падение.

Иногда я вспоминаю шёпот ветров, их рассказы о далёких местах, неоновых витринах, угольных океанах. Ветра мчались порой мимо, заставляя меня трепетать, с немыслимой скоростью, роняя обрывки фраз, что угасали, отдаляясь от дерева, на котором я рос. Эти обрывки никогда не складывались в цельный рассказ, но каждый раз в штиль, когда солнце, мучаясь от жажды, выдавливало влагу из моей плоти, и от асфальтовой дороги внизу поднимался еле видимый жар, я мечтал услышать от порывов хоть слово, хотя бы несколько рваных букв. Но они не приходили, видимо копили истории.

Некоторые из нас падали и раньше, особенно в грозу или ураганы, но это не воспринималось как трагедия – нас было слишком много. Мы считали, что, возможно, это нелепая случайность, будто что-то в системе вдруг пошло неправильно, но это лишь исключение, как часто бывает. Некоторые придавали чужим падениям мистическое значение, будто бы это жертва кому-то или чему-то. Некоторые считали что те, кто смогли улететь – избранные, особенно учитывая, что лишь единицы падали вниз, остальных подбирали путешественники-ветра и забирали с собой. Упавшие вниз прятались в пышных кустах или зарослях высокой травы, об их судьбе мы ничего не знали, и они быстро забывались. Когда пришли холода, растительность внизу начала редеть, мы

начали замечать как много внизу тел падших, изъеденных, сухих, потрескавшихся, и, возможно, от этого зрелища, мы почувствовали недомогание, начали отливать похожей желтизной и покашливать, и затем Падение продемонстрировало нам на нашем собственном примере, что случается с оторвавшимися листьями.

Всё чаще мне снятся далёкие облака, наливающиеся тьмой, раскалывающиеся на части, вспыхивающими трещинами, рыдающие громом от боли, проливающие свою кровь на землю, до полного истощения. Капли дождя всегда кричали в полёте, их предназначением было разбиться, и части их аморфных тел сливались с чужими, впитывались корнями моего дерева или травы рядом, испарялись и возвращались к небу, поднимаясь невидимыми крошечными каплями вверх. Возможно, поэтому они мало что могли рассказать даже когда собирались на моей поверхности, затекали в прожилки. Бесконечные метаморфозы их формы и состояния, смешение частей и воспоминаний, они изредка говорили что-то, но речь их была сбивчива и не согласована, будто одновременно говорила толпа, и все участники её о разном. Под тяжёлым слоем снега, прижатый к холодной земле, я разлагаюсь, теряю нити памяти, гнию, прислушиваясь к зычному зову земли, и теперь могу отчасти понять дождевые капли. Подобно им, часть меня пойдёт на пропитание почвы, а часть останется здесь даже с приходом весны, пока последние крупицы жизни не покинут моё ссохшееся хру-

стящее тельце. Здесь, в ледяной темноте, в тишине, изредка прерываемой скрипом шагов на поверхности, я вижу сны о металлических фигурах, со скрежетом бьющихся при столкновении друг с другом, выпускающие снопы искр при ударах полированных глянцевых корпусов, деформирующихся под собственной тяжестью и следуя собственной первертной воли. Я видел аварию однажды, блестящие вмятины, всполохи едкого маслянистого дыма, сияющий красный всплеск, сгущающийся, чернеющий в прожилках паутины трещин на лобовом стекле. Но сейчас и это поразительное зрелище медленно тонет в моем распаде. Последнее время мне все чаще снятся трагедии.

Сегодня я вспомнил свое рождение. Самое начало бытия, соединения в целостность разнородных элементов, стремящихся к жизни, кричащих до существования, объединяющиеся в форму, способную на дыхание, форму, что по итогу станет мной. Я поднимался от самых корней, вверх, вбирая в себя все, что могло помочь мне стать чем-то существующим, заявить о себе вселенной, вверх по стволу, предвосхищая источник жизни, и ощущая его приближение с каждым импульсом стремящейся вверх влаги. Я вспоминаю, как путь мой отправил меня в одну из сотен ветвей, я сразу понял, что она моя, каналы моей судьбы вели меня именно сюда, на подготовленное место, на то место, которое мне и следовало занимать в этом мире. Я вспоминаю яркую вспышку света, первые лучи солнца, которую я смог воспринять, распу-

стившись достаточно для того, чтобы принять его дары, его неописуемое тепло, насыщающее тебя жизнью, превращающее тебя самого в жизнь, цельную в собственном естестве. Тогда я не мог подумать, что вся эта сила, безумно нежная и воодушевляющая энергия, сияющие лучи, свежесть воздуха и трепет пульсирующих сил во мне и в том, чему я принадлежал, может меня покинуть. Я совсем не думал тогда, что могу умереть.

В моем вневременном заточении, кажется, что все это было бесконечно давно, но вместе с тем, эта бесконечность ощущается как одно мгновение, будто это случилось только что, будто это все ещё продолжается, происходит одновременно с моей смертью, будто время – это лишь один из многих способов восприятия происходящего.

Я порой забываюсь, моментами теряю своё эго, слышу собственный голос, будто он чужд мне, будто я лишь слушатель, неспособный на собственную мысль, размышления уводят далеко, но витиеватость их лишь очередная попытка избежать моих страданий, уйти в мир нагромождений спутанных иллюзий от умирающего эго. Отгнившие, ссохшиеся части меня отваливаются, смешиваются с грязью, становятся с ней единым целым, тем временем как от самого меня цельности остается всё меньше. Я становлюсь все менее значительным, от меня в этом мире остается всё меньше крупиц, и когда я осознаю своё положение, возвращаюсь из лабиринтов воображения в реальность, то нахожу, что место всех мо-

их утраченных частей, пустоту, избавившуюся от самости, все поныне покинутые полости, где раньше обитали надежды и наивность, сейчас заполняет тупой гнев. Всю жизнь, в сосуде, который я когда-то называл собой, заменила собой ярость. Умирая, я обращаюсь в ненависть, ненависть ко всему живому, и в первую очередь к тому, что порождает жизнь, бездумно множит страдания, продолжает цепочку разочаровании обреченных на неминуемое гниение и распад.

Насколько жестоким является это дерево, рождающее постоянно, таких как я, обрекая их на необратимую гибель, на невыносимые страдания умирания, муки разложения? Моё тело гниёт, я порой оглушен беззвучным криком глубин, зудящим на месте внутреннего диалога, и что-то запредельное, холоднее, чем промерзшая земля, тащит меня куда-то по другую сторону ставших привычными мучений, где нет ничего, и невозможность этой пустоты, неспособность моего жалкого сознания вообразить ее и осознать, пугает меня, пугает больше чем перспектива провести вечность в состоянии перманентной боли, но боли земной, понятной, объяснимой, очевидной.

Я помню, как видел в одном из квадратов здании девочку, вроде ничем не примечательную, но все же запомнившуюся мне, эта сцена до сих пор осталась неповрежденной в моей потрепанной, поврежденной коллекции воспоминаний. Вот она слегка приоткрывает рот, и стекло перед ней затягивается туманным налётом. Потом она подносит пальчик, рисует

им по запотевшей глади. Я не знал тогда, что значат эти символы, даже сейчас у меня нет догадок. В тот вечер это заставило меня задуматься о том, сколько всего мне не известно о мире, который меня окружает, сколько вещей могут существовать в нём, о которых я не имею и малейшего понятия. Я захотел познать как можно больше, исследовать все доступное, до чего мог дотянуться свой взгляд, до последней крупинки. Знай я больше, даже познай я всю вселенную вокруг, изменило ли бы это что-то в моём текущем положении? Чувствовал бы я меньшую боль, если бы понял тогда, что нарисовала девочка на стекле? На хрупкое плечико ложится толстая, грубая мужская рука. Девочка поднимает вверх глаза, резко сменившие свой вид, глаза, что приобрели странный искореженный вид. Помимо рисунка, там была еще надпись, но и ее я не мог прочитать, система общения между людьми зачем-то усложнена до такой степени, что порой даже люди не могут понять друг друга. Шторы больше не открывались с того дня, и девочку я больше не видел. Лето кончалось.

С немыслимыми усилиями я заставляю влагу, которую раньше с лёгкостью гнало по моему телу дерево, циркулировать в том, что от меня осталось. Те части, что сгнили и стали пищей для дерева, вероятно, снова родятся по весне, став почкой, а затем листком, а может быть даже, новой веточкой. Пройдя путь от корней, по стволу вверх, к самому солнцу, что набрало сил за зиму, часть моей сущности завершит путешествие, слившись с чем-то иным, изменившись, перерo-

дившись в похожую на прежнюю, но иную форму.

Мысли в таком ключе, несмотря ни на что, все ещё греют, но быстро забываются. Мои части уходят, но я, я мыслящий, я внемлющий року, остаюсь здесь, медленно, по кусочкам умирая.

Меня едят черви, значит, во мне осталось что-то ценное.

Я должен простить мою ветку, ведь, возможно, этот механизм, до боли смешной механизм рождения и умирания, установлен не ей. Возможно, она просто вынуждена, подчинятся некому закону, безличному трансцендентному замыслу, которого она сама в полной мере не осознает, который руководит ею через некий врожденный инстинкт выживания и репродукции, цикличного пожирания отцветших, ради рождения свежих. Что если в действительности, лишь рождая таких как я, и сбрасывая их вниз, для насыщения почвы нашими телами, она может поддерживать собственную жизнь, способную на созидание, за счёт наших, ненужных, множественных, декоративных. Пробыв всю жизнь аксессуаром, я только сейчас задумываюсь об этом и о том, насколько я был не отличим от миллионов таких же как я вокруг, мысли которых были эхом моих собственных, жизнь которых была копией моей. Дерево засыпало по весне, солнце зияло все меньше, жадничая теплом, и то, что от меня, как от лишнего рта, пришлось отказаться, вполне закономерно. Будь я деревом, имей я возможность им стать, или хотя бы

веткой, хотя бы небольшой веточкой, полагаю, я поступил бы так же, следуя слепой бессознательной интенции к выживанию, к выживанию лишь в значении продления периода перед исчезновением, в значении выдачи смерти отсрочки. Вместо исполнителя воли неизвестной силы, я теперь нахожу источник хаотического порядка, до смешного садистского, до абсурда бессмысленного. Я обращаюсь в противоборствующий порыв, в ненависть к существующим законам, воспевающим дифирамбы жизни, я обращаюсь в отрицание целесообразности подчиняться риторическому убеждению о главенстве существования, я проклинаю концепт потомства, беспричинное и безнадежное следование программам генов и прочих биологических механизмов, все эти последние силы, поддерживающие меня на рубеже сознания я черпаю из безграничного отвращения в концепту жизни, отказываясь считать ее высшим даром и ценностью, признавая ее ошибкой, чем-то, даже не бесполезным, а чем-то вредным, ужасным, не имеющим оснований для существования. Те части меня, что переродятся в новые листья, став питанием для дерева, тоже будут обречены на гибель и гниение, весь этот цикл не ведет ни к чему кроме распространения гибели, эскалации мучений. Я вспоминал своё рождение, грелся об эти воспоминания, но сейчас могу сказать, что тысяча рождении не стоили бы одной смерти. Тысяча прохладных порывов ветров в жару не сравнятся со страданиями от одной мысли, из бесконечного множества, что рождаются в созна-

нии, как только ты перестаешь отвлекаться от собственного бытия, как только барьеры, направленные на защиту нашего разума от сводящих с ума предположений, отключаются, и ты оказываешь в пустой бесконечной безмолвной темноте. Ни на какое счастье высших порядков я бы не променял возможность никогда не рождаться, если бы мог. Никогда бы не выбрал я теперь жизнь в гармонии и идиллии с исполнением любых моих мимолетных порывов к желаниям, вместо того, чтобы просто никогда не быть. Никогда бы не смог я даже на долю понять, какой изверг, вселенский садист, создал эти системы, создал эти процессы, механизмы, и заставил боготворить их, за отсутствием ясной альтернативы, пугающей неизвестностью, заставляющей хвататься за зыбкое существование, за хрупкое состояние, которое мы не выбирали, за подчинение тому, что мы никогда не контролировали. Альтернатива, что теперь открывается мне на пороге смерти, чьё приближение упругих объятий черных волн я смутно чувствую в моменты, когда не нахожу сил на мысль. Несуществование, небытие, забытье, в которое я теперь войду израненный, в которое я теперь войду изодранный, осознанный до вещей, что никогда не хотел бы осознавать, имея самость, субъектность и границу между мной и вселенной, которые никогда не хотел бы иметь, Пустота, страшившая меня непознаваемостью, теперь стала самой уютной кондицией, самым понятным и логичным пространством, квинтэссенцией отсутствия, не той тишиной, что существует как

антоним к противоположному понятию, а примордиальной тишиной, не нуждающейся в сравнении с чем-то для экзистенции, для понимания наблюдателем, не нуждающейся в понимании вовсе, не допускающей к себе нечто способное на понимание, растворяющей в себе любую сущность, составляющую единую, идеальную вечность невосприятия.

Я плохо помню её очертания, и сам выгляжу слабым и мой цвет стал другим. Я прощаю тебя. Кого? Не знаю, но эти слова очень важны, очень важно было мне принять собственную искренность. Мой труп теперь похож на сплетение сухих нитей. Довольно жалко.

Сегодня снег надо мной подтаял, и, сквозь небольшое пространство вверху, я увидел голубое небо, ужасно знакомое, но абсолютно чужое, ставшее теперь до жути отталкивающим, чьи просторы, которые прежде я считал необъятной глубиной переливов, идеальной персонификацией красоты и вершиной творения, безупречным порождением существования, стали отторгающими, стали грубой насмешкой над всем, что находится на земле, над загнанной в отвратительный цикл жизнью, над вынужденным предназначением созданий. Бесконечность, вечность небес предстала передо мной в истинной форме, форме безжалостного превосходства, уничижительного сожаления, неизбежного страдания от созерцания нескончаемых мук всех существующих под ним.

Попробовав вдохнуть воздух, я понял, что и он стал враждебным, что он стал токсичнее выхлопных газов, едкая кислота вдоха разнеслась по моим остаткам тошнотворным ядовитым спазмом. Вероятно, воздух принадлежал миру живых, и подходил только цветущим, растущим существам, а я был уже скорее мертв, чем жив, каждый вдох оборачивался удушением, каждый легкий порыв ветра, залетевший в мою яму, мог с лёгкостью разломать меня на мелкие сухие осколки. Я не понимал больше голоса ветров – живые не говорят с мертвецами – да и особо желания их слушать у меня не было.

Вверху я видел крошечные почки, зародыши новых листьев на ветвях дерева. Они были ещё слишком малы, чтобы увидеть меня, или скорее, чтобы вспомнить потом, что видели. Когда они достигнут сознательного возраста, я уже буду в земле, ничего в этом мире не будет указывать на мое существование, напоминать обо мне, новые листья будут следовать общему сценарию, до определенного момента будут жить в сказке, в счастливом неведении, пока реальность не уничтожит их, не раскроет суть, не отправит вниз, ко мне.

Алый всплеск чернеет, сгущаясь в трещинах. Дым, что валит из машины, на вкус хуже чем то, что выдыхают люди с сигаретами меж пальцев, хуже, чем сажа горящих дальних лесов, которую приносят ветра в знойный полдень, хуже, чем дрожащий, кислый, удушающий аромат асфальта, когда солнце в зените. Девочка убирает влажный пальчик от стекла. На ее плечико ложится мерзкая ладонь мужчины, в дру-

гой руке – прозрачная бутылка. Что-то тянет девочку в темноту, лицо её, застывшее в гримасе неописуемой эмоции всё менее разборчиво за туманным стеклом, оно размывается, отдаляясь в темноту. Шторка закрывается. Тысячей жизней не хватит, некоторые вещи в этом мире я никогда не пойму. Я даже не уверен, что хотел бы их понять. Роза падает на асфальт. Волны её бутона засыхают, трескаются, его сметут в горку мусора и грязи, отправят в черный пакет, пакет положат в бак, чьё содержимое сожрет металлический зверь. Никто больше не увидит розу, никто о ней не вспомнит, она закончила в желудке у чудовища, и если у нее и было предназначение раньше, она больше ничего не значит, оно уже забыто, как и весь труд на него направленный, в конце жизни розы, единственной её функцией было накормить, избавить монстра от голода, хотя бы ненадолго. До следующего утра. Крошечное теплое тельце обессиленное борьбой и холодом, умирает застряв в сугробе, выдыхает последнее облачко пара, глаза стекленеют, глаза замерзают.Тысячи жизней не хватит.

Солнечные лучи, появившиеся ближе к полудню, лучи, прежде ласкавшие меня, питающие, согревающие, теперь забирали последние ощущения, выпаривали из меня остатки чувств, топили снега вокруг, чья едкая, грязная влага растворяла меня, прибивала к земле, закапывала мой труп глубже. Лучики некогда родного, самого доброго, нежного солнышка, ослепили меня, выжгли все мои оставшиеся чувства,

досушили отсохшее тело, не способное больше впитывать и греться, добило меня, растоптало все живое, что ещё робко теплилось во мне, вскрыло мою суть как корку, вырвало из моих пор последние крупицы энергии, с невыразимой жестокостью, забрало все, все кроме боли, тягучей, ноющей монотонной боли, свербящей, будто тысячи игл пронзают тебя – так таяли кристаллы льда внутри моего тела, замёрзшие отложения воды снова становились жидкими, но я не мог уже насладиться их свежестью, внутри меня пухли они гнилостными опухолями, солнце вытягивало их из меня, разрушало меня окончательно, разрывая инородным теплом на части. Возможно, по сравнению с этой болью, вся зима была лишь подготовка к настоящим мучениям, но, сказать честно, имей я силы сопротивляться этой космической, всесильной, монструозной энергии, я бы не стал.

Я бы не стал.

Весенний парад жизни, пробуждения и расцвета оказался тем, что прикончит меня окончательно. До моего исчезновения, я, возможно, мог бы рассказать что-то ещё, вспомнить, поразмышлять о чем-то, чтобы оставаться в сознании, оставаться хотя бы в собственном разуме в призрачном образе мира живого и дышащего, который на поверку оказался совершенно иным. Но у меня совсем не осталось желания бороться, пропала даже иллюзия смысла продолжать. Я не могу больше пытаться справиться. Я не могу больше

заставлять себя надеяться. Нет никаких причин продлевать эти страдания, этот мучительный кошмар заточения, разложения, исчезновения. У меня нет сил дышать, нет сил думать, нет больше ни сил, ни желания говорить.

Я отдаю себя земле, холодной жадной земле, голодной чёрной земле, рыхлой горькой земле, уродливой вечной земле, наблюдающей мёртвой земле, зернистой кормящей земле, трансформирующей забывающей земле, перерождающей, тихой, вязкой земле, молчащей, сияющей, греющей, полной жизни созданной смертью, мягкой влажной плотью всасывающей, впитывающей, хранящей истоки и корни, налитой влагой и силой земле.

Отдать себя ей полностью, припасть, слиться, раствориться, отпустить жалкое стремление жить, целовать землю, есть её, пока она ест меня, отказаться от самости, перестав проводить ментальную границу между землёй и самим собой, слиться, и заниматься стерильным сексом с ней до тех пор, пока оргазм не станет болезненным.